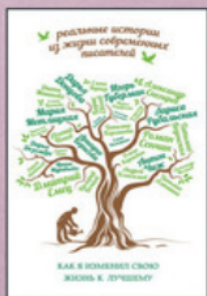


Ирина Муравьева

Другая жизнь и берег дальний



Часть сборника
*Как я изменил свою жизнь к
лучшему*



SHOUT **IT**
SHARE



Annotation

«На свете счастья нет, но есть покой и воля», – сказал Пушкин, но с годами я чувствую, что нет ни покоя, ни воли, а есть, вернее сказать, бывает именно счастье, то есть острое до боли ощущение непередаваемого словами блаженства жизни. Оно наступает по разным поводам: иногда самым крупным, событийным, иногда мелким, как крупички песка. Вчера я проснулась от яркого и ненасытного пения птиц на заре. И почувствовала счастье. Если мне удастся писать прозу, которая передает это состояние или хотя бы соприкасается с ним, – я счастливейший человек!

- Ирина Муравьева



Ирина Муравьева

Другая жизнь и берег дальний

Пророки страдали косноязычием.

Донося до смертного слуха Божий голос, они истощали все силы, давились, их била падучая.

Чем ближе к истине, тем людям труднее даются слова, и жизнь наша, в сущности, невыразима. Судьба – это не хронология жизни, а тайна ее, ее скрытая сила.

Итак: эмиграция.

Что я видела, когда закрывала глаза, и картина абстрактного для меня перемещения посторонних людей из одного географического пространства в другое тревожила воображение своими размытыми подробностями?

Избитая книжная явь: кудрявый барчук в темно-синей матроске, Цветаева, вся в папиросном дыму, огни парохода, с томительным шумом влекущего русские судьбы к далеким, чужим берегам.

Да, люди хлебнули, и это я знала. А многие и захлебнулись, ушли – в матросках и шляпах – на самое дно, где водоросли оплели их по горло.

Считается, что нигде так не обнажается человеческая природа, как в самых экстремальных ситуациях. Война, например. Близость смерти. Блокада.

Но это и так, и не так.

В экстремальных ситуациях человек напоминает раненое животное, у которого затормозились рефлексy и оно кажется мертвым. Единственно важным становится тело, которое нужно сбeречь.

Душа замирает в бездействии.

А вот раскрываются люди тогда, когда идет ставка на их личный выбор. Когда им мерещится, что от их воли зависит не только их частная жизнь, но жизнь большинства и движение планет, и ход исторически важных процессов – и много всего, что на самом-то деле не подозревает об их суете. Забыть, что «судьба человека от Господа», как сказано в Библии, проще и легче, чем, скажем, забыть даты жизни и смерти неблизких друзей.

Память наша лукава.

Моя эмиграция – это судьба, но только не в узком, практическом смысле, а именно в том, в каком я понимаю случайность любого большого решения и одновременно – его неизбежность.

Однажды в июле прибило меня волною событий к раскормленной Вене. В ней пахло печеньем, горячим асфальтом, а в парке, куда мы ходили гулять, цветами и травами. На кухне встревоженные переселенцы варили большие и гладкие яйца в огромных кастрюлях, при этом считая чужие доходы. Боялись потратить копейку, но тратили, поскольку вокруг было много соблазнов: во-первых, конечно, Макдоналдс, а рядом – большой венский рынок. Куда-то нас часто возили гуртом: сажали в автобус со скошенным верхом, и маленький грустный шофер Эдуард считал наши разгоряченные головы. В конторах, куда нас возили гуртом, всегда было много анкет. Боясь ошибиться, сорвать чужой власти, мы их заполняли прилежно, как дети.

Все ждали, что будет визит к гинекологу, но этого не было. Только рентген: нельзя завозить с собой туберкулез, а если завез, то сиди в карантине.

Однажды на кухне кудрявый, но с лысиной, блестящей, как таз посреди муравы, работник торговли сказал, что в метро вполне можно ездить без всяких билетов. Какой-то был трюк, но ему не поверили: ты свои советские штучки брось – здесь, милый, Австрия.

Но Австрия перевернула страницу, открылась другая картина: Италия.

Вокзал. На вокзале старуха – вся в розах, больших и бумажных. С тележкой. В тележке – собачка, и тоже вся в розах. Старуха – безумная, все к ней привыкли. Собачка грызет шоколадку кудрявым, ввалившимся ртом...

Зной этого города был еще жестче, чем зной старой Вены. Купаться нельзя: воды мутного Тибра несут в себе грязь и отраву. Мы украдкой плескали на себя из фонтанов, снимали сандалии и погружали в воду отекавшие ноги. Подошвы касались блестящих монеток: туристы мечтали вернуться обратно и снова увидеть развалины Рима.

Чужой темперамент пугал и притягивал: водители так проклинали друг друга и, высунувшись из окошек, кричали так громко, что эти их крики, плевки их проклятий, гудки и угрозы сливались в какую-то дикую музыку, исполненную сумасшедшим оркестром.

Гостиница была раскалена.

Наши женщины, забыв о приличиях, строились в очередь, желая воспользоваться общим душем, в простых белых лифчиках. Босыми, но в юбках. Сквозь полураздетый их строй проплывали, как утки, арабские скромные жены, спеленутые до бровей черной тканью. Их муж жил в другой, как сказали «роскошной»

гостинице с младшей, последней женою. А эти, числом, скажем, шесть или восемь, томились от скуки и от любопытства. Однажды они постучали к нам в дверь и знаками смуглых и женственных пальцев спросили, не знаем ли мы, чем открыть коробку сардин: очень проголодались.

В обед подавали фасолевый суп с горячим поджаристым хлебом, на завтрак – горячие булочки с джемом. Народ налегал на вино из кувшинов, вино было розовым, явно домашним.

На римских развалах лежали вповалку дешевые туфли, одежда и сумки. Мы знали, что римляне – вроде цыган: они говорят тебе «двадцать», ты им «пять». Сторгуется. Главное – не уступить.

Неделя прошла, а потом, принарядившись, мы переселились в Ладисполи – город, до этого живший спокойно и тихо.

Песок его берега был ярко-черным, сверкал, как хрусталь. Нам всем полагалось ходить в синагогу, но не для молитв, а для разных бесед. Раввин из Питера с детским именем Гриша, здесь ставший Давидом, учил нас, птенцов, еврейским законам, читал нам из Библии. Птенцы удивлялись, узнав, что в субботу нельзя даже ездить на автомобиле, и очень гордились, что мы повторили поступок решительных предков: алкая свободы, ушли из Египта!

По пятницам всем нам дарили по курице, уже размороженной, жирной и белой. На курице ярко краснела наклейка со словом «кошерная», только написано большими латинскими буквами: «Kosher».

Я помню, как пахло в садах виноградом, и как по песку, торопливо пружиня, ходили торговцы с тяжелой кладью: браслетами, бусами, кольцами, брошами. Они приезжали сюда из Туниса, где все эти камни – агат, хальцедон и даже любимая мной бирюза – стоят копейки. А вырвавшимся из Египта хотелось купить и украсить себя даже в этих, весьма непростых, обстоятельствах жизни. Они были алчным советским народом, привыкли давиться по очередям, привыкли «хотеть», «доставать», «рвать из рук».

Оранжево загоревшие женщины кивали тунисцу, и он подходил, улыбаясь всем ртом, блестел черным потом, снимал свой лоток с костлявой, натруженной, мокрой груди – и переливались под солнцем сокровища, и женщины, хмурясь, их перебирали, и вешали на свои скользкие шеи огнистые бусы, а в уши вдевали зеленые серьги, и вскоре мужья их, не в силах противиться, вступали с торговцем в тоскливые споры, пытаясь купить, ничего не платя. Но кроткий торговец мотал головою, и сделка заканчивалась, как обычно: один, получивши гроши, надевал лоток на костлявую грудь, а другой, махнув рукой,

убирал кошелек подальше от глаз, укрывал полотенцем, подкладывал под облысевший затылок, откуда никто бы его не похитил, и даже цунами – случись оно вдруг – сначала бы смыло весь город Ладисполи, и всех итальянцев, и их детей, и ребе Давида с его синагогой, а только потом – этот вот кошелечек...

Еще одну перевернули страницу: Америка.

Узкий и душный самолет, в котором наша группа вылетела из Рима, был последним подобием жилья, объединившим тех, имен и лиц которых я сейчас – через тридцать лет – почти не помню. Отдельные черты иногда проступают сквозь пену времен – и сразу в ней тонут.

Когда я думаю о том языке, которым Бог говорит с людьми, я вижу не только картины пожаров, и войны, и гибель семей и народов, но эти простые и мощные знаки, которыми располагает природа. Они останавливают на пороге, ломают маршруты, мешают и мстят. От них закрываются на все засовы, едой запасаются, гасят огни, но если кому суждено оказаться на лодке, когда поднимается буря, то он и окажется в ней, в этой лодке, и если жених не доехал до церкви, то, значит, метель была много важнее, чем это венчание.

Мы приземлились в Нью-Йорке и тут же узнали, что несколько часов назад начался ураган, который, сокрушив всю Южную Каролину, несется сейчас к нам, сюда, с одной только целью: убить все живое. Его звали Глорией. Он (или она, эта самая Глория!) должен был быть здесь в течение часа. И все-таки мы полетели, рискнули. Последний в тот день самолетик до Бостона, а может быть, самый последний на свете, последний на небе – простой самолетик, где у стюардессы было лицо голубя. Ее я запомнила: клюв, сизо-синие глаза с поволокой...

Глория не шутила и не намеревалась никого щадить.

Что происходило на побережье, я не знаю: океан достаточно далеко, но город под страшными лапами Глории, под скрежетом ее черных зубов утром стал грудой поваленных, жалких деревьев, осколков, обрывков каких-то полотнищ, сплетенных жгутом проводов. И все это хранило следы перепуганной жизни – не только людской, но всеобщей: древесной, и птичьей, и жизни подземной, куда уползли насекомые в страхе, и жизни всего населения речного, которое спряталось на глубине и скрылось от глаз обезумевшей ведьмы.

Весь день бушевала она и всю ночь.

А утром затихла, устала, смирилась.

За руку со своим десятилетним сыном я бродила по Гарвардской площади, на которой, осторожно переступая через

мертвых: листву и стволы, провода и осколки, бродили неловкие тихие люди, как будто они обходили все вместе огромное грустное поле сраженья.

Зачем налетела тогда эта Глория?

Чтобы напугать меня?

Предупредить?

Осень, теплая осень в чужом городе, победно блистала сквозь дыры в листве то облаком, то синевой, а сама сгорала при этом, и все осыпалось, прощалось друг с другом, и трещины старых кладбищенских плит казались слегка лиловатыми...

Той же осенью удачи посыпались на голову, как будто в небе перевернули рог изобилия, и все его благодатное содержимое летело оттуда с завидной прицельностью: искало меня среди звезд, гор и рек.

Самой большой, невысказанной, с точки зрения скромного человека, удачей была работа в Гарвардском университете. Ассистентом профессора, пять раз в неделю. Восторг раздувал меня. Вопросы: «За что? Почему?» – не мешали: мне просто везло, как везет тем лунатикам, которые могут пройти по карнизу двенадцатого этажа и спокойно опять возвратиться в постель.

Из преподавания запомнились мелочи: читали рассказ «Толстый и тонкий». Чехов, будучи человеком старой формации, написал, что тонкий «захихикал, как китаец». Конечно, ему это с рук не сошло. Китаец, студент-второкурсник, стал красным, а вскоре вообще почернел: «Он что, был расистом? При чем здесь китайцы?»

Весной начались, как обычно, экзамены.

Студенты мои просто падали с ног. Глаза их ввалились. Мне – женщине, матери и человеку – всегда тяжело видеть чье-то страданье, и я попыталась помочь.

– Хотите, мы просто пометим билеты? – спросила я ласково.

У нас было несколько тем разговорных и несколько – литературных. Из всех разговорных одна была трудной: «К чему я стремлюсь в своей жизни», а литературные все были жуткими, особенно: «Образ простой русской девушки из фильма «Вокзал для двоих».

– Как это: «пометим»? – спросили они и притихли.

– Зеленым пометим «К чему я стремлюсь», а «Девушку» – красным. Возьмете – что знаете. Мы все в МГУ это делали.

И я рассказала забавные байки про то, как в России сдавали экзамены. Страна моего ускользнувшего детства предстала в разбойной и дикой красе. Шпаргалки, репрессии, Сахаров, бомбы

и снова шпаргалки. Ни чести, ни совести, все на продажу. Так делали все, понимаете? Все!

– И вы? – прошептали они.

– Ну а как же?

Они засмеялись с неловкой угрюмостью.

В столовой я встретила взгляд.

Надо сказать, что за пару дней до этой нелепой моей откровенности ко мне на урок пришла дама. Вернее, коллега. В цепи превращений, когда незабудка становится мальчиком, а вскоре и мальчик, проживший свой срок, становится зайчиком или медведем (кто что заслужил!) – я вас уверяю: в цепи превращений моя эта дама была в свое время гремучей змеей. Хотя за плечами гремучей змеи дымились советское детство и юность, Фонтанка, Канавка, дворцы и каналы, она продолжала шипеть и извиваться, как будто вчера еще ползала в джунглях, и в маленьком, нежном ее облысении на самом затылке упрямо сквозила змеиная кожа. Глаза были узкими, черными, сильными. Улыбка, почти не сходящая с уст, измазана густо-красной помадой. И даже в фамилии что-то звериное: Косматова Ася.

Такая вот дама-коллега пришла на урок и сидела на нем, и все помечала своим карандашиком мои недочеты в зеленой тетрадке. Потом, окровавленным ртом усмехнувшись и быстро слизнув проступившую пену, ушла.

«Стукачка!» – подумала я, пребывая в своей лунатической фазе сознания.

Экзамены кончились.

Лето настало с внезапностью первой любви: все цвело. Магнолии были пышны, как головки резвящихся в небе детей-ангелов. У здешней весны нет тех сказочных запахов, которые памяты мне по Москве: ни запаха дыма из мокрых садов, ни жадного запаха робкой травы, ни запаха первой сирени, которая способна смутить даже черствое сердце – настолько, что скучный его обладатель, зайдя в палисадник и сев на скамью, сорвет себе веточку и позабудет, зачем разругался с женой в пух и прах, зачем сгоряча дал по морде соседу...

В самый последний перед каникулами день меня попросили зайти в кабинет к заведующей кафедрой.

Американские слависты делятся на две категории: тех, которые стесняются говорить по-русски, и тех, которые не стесняются на нем говорить, несмотря на утомительные свои ошибки в этом непростом языке. Моя заведующая принадлежала к первой группе. Закусив еле заметную нижнюю губу, она очень быстро, на чистом английском, сказала, что Гарвард на следующий год со мной не намерен сотрудничать.

Баста.

Это было оглушительной новостью.

Кровь прилила к моему лицу, и несколько секунд перед глазами пульсировала яркая темнота. Потом я опомнилась и дрожащим, хотя, наверное, очень злым голосом спросила, в чем дело.

Малиновые пятна переползли с моего лица на ее. Понизив голос и оглянувшись на тяжелую, чудесного старинного цвета дверь своего кабинета, она сообщила, что на меня жалуются.

– Студенты? – воскликнула я.

– И студенты, – сказала она с выражением.

Я спускалась по лестнице, оскорбленная и потерянная в дебрях американской действительности, как герои Драйзера.

Гнев переполнял меня.

Если бы Косматова Ася, стукачка, змея и к тому же подонок, была бы тем домиком жалким, той хижиной, где жила невеста пушкинского Евгения, мой гнев снова смыл бы и домик с невестой, и все вокруг домики – с тою же силой и с той же безжалостностью, как Нева, которая преодолела гранит и всем показала, что значит стихия!

Свободная, если поверить поэту.

Стихии во мне очень даже хватало, но, кроме стихии, нужна и работа.

На следующий день я приняла неистовое решение: не продолжать своего безрадостного романа с американской славистикой, а тут же освоить любую профессию.

Бесы, смущающие человека на всем протяжении жизни его: от мирных яслей до последнего вздоха, влетели, как пчелы, впились, зажужжали. И я, вся изжаленная и искусанная, решила, что стану теперь косметичкой. Учиться недолго: три, кажется, месяца, работы полно.

Я буду работать с народом. И так даже лучше: народ вам не Гарвард, народ не предаст.

По-русски слово «косметичка» включает в себе нечто фамильярное и снисходительное, вроде как: «закорючка». По-английски это звучит намного солидней: «специалист по эстетике».

Машины у меня не было, и на курсы обучения «эстетических специалистов» я ездила на трамвае.

Но это была уже не прежняя «я» – не та, которая прошлой осенью, разрываемая счастьем, садилась на мягкое красное сиденье автобуса, летящего почти от самого моего дома до Гарвардского университета, не та, которая с сумкой, полной книг

и тетрадей, вдыхала листву и землю гарвардского двора, а потом по пологой широкой лестнице поднималась на третий этаж, окруженная доброжелательными взглядами аккуратно причесанных профессоров, педагогов и попечителей, которые смотрели на меня с портретов, украшавших это почтенное здание.

Теперь я была женщиной, на лице которой ясно читалось, что она, как говорили в нашей московской коммуналке, «трудовая», поэтому ранним утречком эта «трудовая» быстренько моется-споласкивается, волосы жгутом закручивает, садится в трамвай – у нас говорили «транвай» – и шасть на учебу! А там – никаких ни деревьев, ни портретов, а спуск прямо в очень глубокий подвал, где свет на всем – мертвый, слегка синеватый. Окошек-то нету, на то он и подвал.

В подвале нужно было первым делом «пробить время», то есть отметить карточку, во сколько часов и минут и секунд ты прибыл учиться *эстетике*.

Потом нужно скоренько переодеться: на ноги – белые тапочки, на голову – белую косыночку, кофточку домашнюю, «светскую», так сказать, – в сумочку, и вместо нее – чистый белый халат, застегнутый прямо до самого горла.

А преобразившись в покойницу, сядь, раскрой свои записи с прошлого раза и слушай учительницу.

Все это так живо напоминало московскую школу, в свое время отпустившую меня на волю с документом о полученном среднем образовании, что иногда даже казалось, что я участвую в каком-то розыгрыше. Как могут свободные взрослые люди пугаться того, что их будут ругать за плохо разглаженную косынку? За то, что пришла в белых *туфлях*, а не в тапочках?!

Я не делала ничего нарочно, но как-то само получалось, что иногда мой зеленый трамвай слегка опаздывал, а иногда я *действительно* забывала дома белые тапочки. На втором месяце обучения меня попытались отчислить, но потом разрешили исправиться и наказали тем, что я должна была оставаться в школе на вторую, вечернюю смену. Я стиснула зубы и приказала себе до дна выпить чашу унижения, получить бумажку и устроиться на работу.

Призрачность моего замысла становилась все очевиднее: я плохо спала по ночам, а утром не могла есть от тоскливого волнения. Перед выпускными экзаменами, на пороге моей яркой будущей карьеры, одна из учительниц – пышная, как кусок свежего торта, с глазами совы – вдруг меня отругала. Какое-то сделала мне замечание и даже повысила голос. Бывает. «Эстеты» – ведь тоже, в конце концов, люди, и нервы у них не канаты, поймите. Но тут меня вдруг прорвало, как плотину: я стала

безудержно, сладко рыдать. Вокруг с вытянутыми лицами сбились в кучу матери детей и подростков – мои, так сказать, «одноклассницы». А четверо кураторов – владелица школы с серебристой головой и молодыми розовыми щеками, две ее помощницы (та самая, которая сделала мне замечание, и еще одна, пугливая, с разбитой жизнью), а также любовник начальницы школы, который имел непонятную должность, – стояли, не зная, что делать. Опытные люди мне много позже объяснили, что будь я слегка поумней – рыдать нужно было не так, бескорыстно, а, всех напугав своим жутким рыданьем, самой звонить в «Скорую». Примчалась бы «Скорая», и в тот же вечер закрылась бы школа. Потом, значит, тяжба, суды и застенки руководителям школы, а мне – компенсация в денежных знаках. Поскольку они же меня довели, и я из спокойной и честной «трудящей» вдруг стала почти невменяемой!

Но я, как всегда, упустила свой шанс: рыдать – порыдала, и все. Успокоилась.

Однако они ничего не забыли.

Экзамены были в конце ноября. Пришли волонтеры-клиенты, уселись на кресла, закинули головы. Мы все, молодые «эстеты», накрыли им личики белыми тряпками и начали эти помятые личики разглаживать и увлажнять. Ко мне легла женщина старше восьмидесяти. Не знаю, чего я ей там нанесла на дряблые веки, но женщина стала чернеть и пытаться привстать на своих ослабевших ногах. Кураторы кинулись к ней с ломким криком. Старуху спасли, но мне сразу сказали, что даже и речи не будет отныне о сертификате: я им опозорила школу, и бизнес, налаженный в муках, разрушила.

Но тут уж и я рукава закатала и тихо ответила, что если так, то я расскажу в нашей русской «комьюнити», какие у них тут дела и порядки. И мы, настоящие русские женщины, устроим так, что больше никто в этом городе в их мерзкий подвал никогда не заглянет.

Тогда они выдали сертификат и возненавидели нас, русских женщин.

Приближалось Рождество.

Мелкий, голубоватый в сумерках снег беззвучно струился на землю.

Уже пахло хвоей. В Центральном парке огромное неподвижное дерево переливалось огнями и звездами, работал каток. Бездомные, не пожелавшие быть укрытыми от холода в городских приютах, разворачивали рваные спальные мешки, укладывались на люки, из которых мягко валил пар, и

укутывались замасленными одеялами. Город стал празднично-беспокойным и одновременно уютным, зима создавала внутри себя свой порядок.

Это было лучшее время для того, чтобы устроиться на работу: перед Рождеством женщины начинают волноваться, как чайки, которые чувствуют приближение рыбы. Косметические салоны едва справлялись с наплывом клиентов. Ни на секунду не забывая, как розовощекая хозяйка железным голосом пообещала, что никто и никогда не возьмет меня на работу, я села в трамвай и приехала на самую модную, самую дорогую, полную богатых магазинов, галерей и ресторанов Ньюберри-стрит.

В центре Ньюберри-стрит, опять же в подвальчике, уютном, с глубокими креслами, находился в те времена знаменитый салон Элизабет Грейди. Кто такая была эта Элизабет, жива ли она или хрупкие косточки бедняжки промерзли в бостонской земле – не знаю и вряд ли когда-то узнаю...

По лестнице, на каждой ступеньке которой стояла маленькая сверкающая елочка в цветочном горшке, я спустилась и отворила дверь.

Запах духов и еще чего-то – свежего, терпкого, вкусного – охватил меня, и сердце внутри задрожало в предчувствии. Через пятнадцать минут та же самая я – в том же пальто и с той же сумкой – поднялась обратно по лестнице, уставленной елочками, совсем в другом качестве: частицей огромной и пышной промышленности, которая служит лицу человека.

А то ведь такие случаются лица, что с ними и на улицу выйти неловко!

Природа безжалостна, но, слава богу, есть мы, «эстеты», и знания наши, и вкус наш, и опыт, и наше стремление отдать это все человеческой массе.

На работу меня взяли сразу же, не задав почти никаких вопросов, по одной причине: мой русский акцент.

Не хуже французского, даже еще лучше.

На Ньюберри-стрит горели огни и переливались звезды, пахло хвоей и шоколадом, редкий снежок замедлял свое простодушное движение у самых больших фонарей и словно смотрелся в них, как в зеркала.

Я спрыгивала с трамвая и, понимая, что опять опоздала, ныряла на дно ослепительной улицы.

Чернокожая, с золотистыми зрачками под густыми наклеенными ресницами, Дэнис укоризненно качала головой на мое опоздание и кивала в сторону очередного незнакомого человека, который дожидался меня, небрежно перелистывая глянцевого журнал:

– А вот и Ирина. Она вас обслужит.

Я просила извинить меня за опоздание, улыбалась как можно приветливей, просила подождать ровно две минуты, быстро шла по узкому коридору в свою комнату, зажигала там свет, снимала пальто, набрасывала розовый халатик – и возвращалась обратно в холл, где незнакомый человек, черт которого я по-прежнему не замечала, уже переминался с ноги на ногу, встав со своего мягкого кресла. Я летела впереди, не стирая с лица улыбки, как будто мне лень было дважды раздвигать губы заново, а шаги незнакомого существа – мужчины или женщины – торопились за мною следом.

Войдя в комнату, я строго сжимала губы, давая понять, что сеанс будет нешуточным, просила раздеться до пояса, – я подожду за ширмочкой, не торопитесь! – лечь на пологую кушетку и укрыться до подбородка вот этой – не той, а вот этой! – простынкой.

– И обувь снимать? – спрашивал меня чей-то голос.

Преодолевая легкое отвращение, я беспечно отвечала, что можно и снять, а можно и оставить. Как хотите, что хотите, лишь бы вам было удобно.

И скрывалась за ширмочкой.

Тут на меня почему-то сразу наваливался сон. Я слышала легкое позвякивание чужого браслета, часов или бус, скрип молнии, шорох одежды, а сон обнимал меня мягкими лапами, пытаюсь свалить прямо на пол, где я, словно Варька из раннего Чехова, готова была погрузиться в беспмятство.

Потом раздавалось кряхтенье кушетки, звук скрещиваемых под простынкой ног, осторожное покашливание. Невидимый занавес раздвигался – и начиналось мое жалкое клубное представление.

Театр одной крепостной.

Обеими ладонями пробивая плотный туман сна, как пробивают морскую воду, входя в нее и нащупывая ногами дно, я выныривала из-под ширмочки и, одарив незнакомое существо улыбкой, усаживалась на высокий крутящийся табурет. После этого я быстро проводила ладонями по постороннему лицу, сильно, но вежливо нажимала жертве на лоб, словно пытаюсь полностью отключить у нее сознание, и принималась задавать самые нелепые вопросы тем самым голосом, в котором содержался драгоценный для моей карьеры русский акцент:

– Любите ли вы зеленые яблоки?

– Зеленые... что?

– Яблоки, яблоки, – журчала я на одной ноте, что, как известно, способствует расслаблению лицевых мышц. – Вы будете

очень удивлены, узнав, что семьдесят пять процентов того, как выглядит ваша кожа, зависит от количества зеленых яблок в вашем ежедневном рационе!..

Жертва пучила глаза.

– Мы очень многого не знаем о своей коже, – бормотала я, стискивая большими пальцами обеих рук углы чужого рта, чтобы существо молчало: голоса раздражали меня. – Секрет ее эластичности содержится в коже обыкновенных зеленых яблок.

Потом я приступала к пытке, расковыривая щеки и нос беззащитного человека ногтями, обернутыми полотенцем.

– Знаете французскую поговорку? *Pouretre bele il faut souffrir* – красота требует жертв?

Сердце мое звонко стучало от злорадного удовольствия, когда, истощив запас своего отвращения к любимой работе, я бросала в ведро слегка окровавленное полотенце, слышала глубокий, покорный вздох и шелестящим шепотом сообщала, что теперь наступает самая приятная часть процедуры: лечебная маска и глубокий сон.

Маску я делала исключительно по вдохновению минуты.

На полочке под зеркалом стояло множество хорошеньких баночек с разноцветными мазями. Каждая баночка была подписана: «ментол», «клубника», «цинк», «цитрус», «имбирь» и так далее. Не имея ни малейшего представления о том, что будет, например, если смешать клубнику с имбирем и добавить туда побольше цинка, а потом какого-нибудь масла, я зачерпывала маленькой деревянной ложечкой немножко красного из одной баночки, желтого из другой, сыпала струйку какого-то искристого порошка из третьей, потом перемешивала и смотрела, что получилось. Чаще всего получалось красиво и пахло приятно.

– Это именно та маска, которая необходима вашему лицу, – бормотала я. – Действие ее рассчитано на двадцать пять – тридцать минут, и потом вы, глянув в зеркало, себя не узнаете!

Я гасила большую лампу, оставляла что-то вроде крошечного красного ночника, просила закрыть глаза и для верности придавливала веки смоченными в теплой воде марлевыми салфетками.

– Пospите, пospите, – шаманила я. – Сон так же необходим, как и зеленые яблоки. А масочка будет работать во сне...

Дыхание погружаемого в колдовство организма становилось глубоким и ровным. Иногда раздавалось посапывание, которое я хоть с трудом, но терпела. Но если спящий начинал громко и сладострастно храпеть или свистеть, как дачная электричка, я тихо дула на переносицу или переворачивала на века марлевые салфетки, и неприятные, мешающие мне сосредоточиться звуки

прекращались.

Была тишина, темнота, падал снег.

Я сидела на высоком табурете, крест-накрест обхватив себя руками, забыв о полуголом, беспечно спящем в моем присутствии краснолицем или синелицом человеке (состав моих масочек давал самые разные цветовые результаты!), и время затягивало меня в свою глубокую воронку, где вспыхивали, словно искры, минуты, уже пережитые мною... Это были не воспоминания и тем более не картинки прошлого, это были переживания, которые ждали своего завершения, словно тогда, когда они происходили в действительности, душе моей не хватило на них ни сил, ни жизненного опыта.

Я знала, что снег идет здесь и сейчас, и он пахнет хвоей, но только и снег, и еловый запах вдруг высвобождались из «здесь и сейчас»: они становились приметой Москвы, в которую навеки впечатался след моих детских санок...

Жизнь переплеталась внутри, как коса, узлы в ней развязывались, а все пустоты затягивались, наподобие ран.

Почему ничего подобного не происходило со мной в другие минуты? Почему нужно было забраться в этот подвальныйчик, нацепить на себя розовый халат, вооружиться чужим языком, чужим, вязким голосом, слегка устыдиться своей новой роли, и тут-то *оно* и пришло?

Мои переживания были такими сильными, чувство вины, почти не знакомое прежде, за все, совершенное в жизни, накатывало с такой беспощадностью, что я и боялась этих минут, и упивалась ими.

Мне казалось, что я долго бежала куда-то, задыхалась, спотыкалась, ободрала руки и ноги и вдруг оказалось, что все это зря: бежать было некуда.

А главное – незачем.

Оказалось, что за все время моего марафона я ни разу не осталась наедине ни с собой, ни с тем, что копилось внутри, пока санки царапали снег на Плющихе, пока из меня, чуть живой от потери большого количества крови, вытаскивали ребенка, и доктор, который сказал мне в палате: «Забудь обо всем, мы спасем тебя», – был сам потрясен, что мы с ребенком выжили: оба. И все это – санки, и снег, и взросление; и сын, мне доставшийся чудом и кровью; и столько ошибок, и столько любви, отпущенной мне; и смертей самых близких; и лес, где сначала растили меня, поскольку наш дом был у самой опушки, а после на этой же самой опушке я тихо качала коляску с ребенком; и все эти веточки, ветви, цветочки; весь шум поездов, запах мокрой травы; какие-то встречи, какие-то слезы и радуги радостей – жило

внутри, но главного я так и не поняла: прошедшего времени нет у души.

Оно есть у тела, поэтому смерть – удел только плоти, бояться тут нечего.

Время поднималось внутри, как огромная волна на знаменитой картине Хокусая, который со своим чисто японским бесстрашием написал, как вода, вся в мелких и жадных когтях, вылупившихся из ее белой пены, стоит выше гор, выше всех их снегов и выше далекого облака в небе.

Это поднявшееся из глубины всей меня и остановившееся внутри меня время ощущалось, как особая, самостоятельная величина, к которой я никогда не привыкну, потому что она больше, чем я, и все, через что я прошла и пройду.

Сладко спящему под простынкой надлежало тем не менее проснуться, чтобы я, как с дитяти, стерла с него свою волшебную масочку и предложила последовать за мной по тому же коридору, в тот же уютный холл, где он, румяный и сладко выспавшийся, должен был заплатить строгой Дэнис за красоту и полученное удовольствие.

Был тут еще один, довольно щепетильный момент: а именно – чаевые, к которым я все не могла привыкнуть, несмотря на их очевидную практическую полезность. Поначалу я вела себя самым странным образом: а именно прятала руки за спину, делая их недоступными для людской благодарности, но оставался еще карман, в который, не обращая внимания на яркую краску, заливавшую меня, умело засовывали две-три бумажки.

Теперь и это не удручало: обида на судьбу, спустившую меня с широкой гарвардской лестницы, утрачивала свою силу.

Я уже не тяготилась своей работой и не вспоминала об унижениях, пережитых за месяцы учебы. Четыре вечера в неделю я, как подарка, ждала минуты, когда под простынкой заснет человек, а я стану думать, и думать, и думать.

То, что это состояние может привести к чему-то еще, кроме слез и наслаивающихся друг на друга воспаленных переживаний, не приходило мне в голову, пока однажды вечером – особенно снежным, особенно праздничным, словно бы ждущим того, что сейчас загорится на небе звезда Рождества, хотя до Рождества еще оставались какие-то дни, – этим вечером, подробности которого остались в памяти, как будто бы все это было вчера, я вдруг достала из сумки записную книжку, ручку и стала писать без единой помарки.

Сначала подкралось простое название: «Ляля, Наташа, Тома».

Потом вспыхнула перед глазами стершаяся фотография –

именно вспыхнула, несмотря на свою тусклость: моя мама в венке из ромашек. Потом – опять она, полузакрывшая лицо огромной белой кошкой и улыбающаяся из-под пушистой кошачьей головы...

Я потеряла ее в трехлетнем возрасте, и тоска этой потери не успела прорасти глубоко: я слишком мала была для такой боли. Сейчас я ощущала тоже не боль – было что-то, что я порывалась успеть записать, но память моя была куцей, короткой, отдельные факты из маминой жизни, рассказанные мне другими, мешали, и я их отбросила.

Снег шел и шел.

Мерцающий снег, словно в детстве.

И стены салона «Элизабет Грейди» меня уже не защищали от детства: мы с мамой остались в нем наедине.

Потом я исчезла.

Она была в центре: в венке из ромашек и в еле заметном венке из моих непролившихся слез...

Через две недели оказалось, что повесть «Ляля, Наташа, Тома» дописана.

За это время я поняла, что несколько месяцев «эстетической» учебы и месяц на Ньюберри-стрит пора отодвинуть, как коврик у двери.

Они отыграли свое. Отработали.

А дальше были – глубина, синева.